

Петр Немировский

ПАПА ЖОРА

Рассказ

1

Пожалуй, нужно начать с того июньского утра, когда я, шестилетний мальчик, сладко сплю на старом диване с потертой зеленой обивкой. За окнами — раннее утро, и солнечные зайчики, резвясь, запрыгивают в мой приоткрытый рот.

Вдруг чьи-то костлявые пальцы вцепляются в мое плечо. Перепуганные зайцы выскакивают изо рта и разбегаются. Приоткрываю глаза и вижу большую седую голову, высокий, исполосованный морщинами лоб, крупный нос и жесткие губы; левый уголок рта слегка приподнят, а правый опущен, как у Пьеро. Впрочем, сравнение с Пьеро здесь крайне неудачно. Глаза — темно-зеленые, со странным коричневатым оттенком. Это — дядя Георгий, которого все вокруг называют папой Жорой.

— Хорош нежиться. Подъем! — командует он.

Я кривлюсь, закрываю глаза в надежде, что папа Жора исчезнет из моей жизни хоть на пару минут. Притворяюсь спящим, глаза сразу наполняются белыми кувшинками, под которыми плывет большая серебристая рыба... Но меня снова трясут, сильнее прежнего.

— А ну одевайся. Ишь ты, принц.

Сажу на краешке ванны, закрыв глаза, пытаюсь досмотреть, куда же поплыла та рыбина. Но хвост ее исчезает, белые кувшинки тонут в темной воде, а из комнаты все громче доносится надсадный кашель папы Жоры.

Надеваю футболку, шорты. Пуговица еле держится — интересно, когда же оторвется? Затягиваю ремешки сандалий, из которых далеко вперед смело выступают два больших пальца.

— Орел! — бросает папа Жора и направляется к двери.

Идем по улице. Я плетусь за ним — сухопарым, высоким, величественным, похожим на памятник императору. Удочка в его руке могла бы выступать в роли копья, но все портят широкие вытянутые на коленях брюки, и папа Жора-памятник двоится, превращаясь в папу Жору-клоуна.

XXX

Родители меня не воспитывали. Быть может, потому, что всегда работали. Впрочем, их отсутствие меня устраивало. В семь утра под скрип паркета мимо моего дивана тяжеловатой походкой проходил отец; следом за ним — гораздо тише, почти на цыпочках — мама. Потом где-то журчала вода, доносились обрывки фраз о детских ботинках на зиму, о ключах, о каком-то Сергееве, свистел чайник. Наконец этот хаотический набор звуков завершался щелчком замка, и вся квартира погружалась в тишину, если не считать жужжания проснувшейся мухи и тиканья будильника. Не раскрывая глаз, я улыбался, ощущая себя самым свободным в мире человеком.

Вообще, работали, суетились все взрослые, кроме папы Жоры. И в этом — в предоставленности самим себе — мы с ним были равны.

У него была жена по имени Серафима, которую и папа Жора, и все вокруг называли Симой, — дородная женщина с остреньким носом, сильно прищуренными (даже не определишь их цвет) глазками и тоненькими черными усиками над верхней губой. Тетя Сима вечно носила полные сумки и была постоянно чем-то недовольна. Наверное,

утром, когда она собиралась на работу, папа Жора, как и я, притворялся спящим, испытывая такое же чувство невероятного облегчения.

Затем он вставал, шел на кухню, где теснились шкафчики, табуретки, ведра. Брал пачку «Казбека», отворял форточку и, глядя в окно, неспешно ударял пачкой по раскрытой ладони, пока оттуда не появлялся конец папиросы. Крутил, слегка сдавливая, наполненную табаком часть в тонкой папиросной бумаге. Потом папа Жора — этот Нептун в широких темно-синих трусах и майке, из-под которой выпирала мочалка седых волос, — дул в гильзу, сминал ее и зажимал в крупных желтых зубах. Чиркала спичка, и в форточку вылетало облачко дыма.

Пачка «Казбека» со всадником в черной бурке неизменно лежала на подоконнике. Эта пачка манила к себе. Однажды, улучив момент, я отважился взять оттуда папиросу. Забрался на чердак и закурил, но испытал такое сильное головокружение и тошноту, что поклялся никогда не курить. Впрочем, клятва была нарушена в четырнадцать лет, когда нужно было использовать все доступные средства, чтобы поскорее стать взрослым. Тогда-то папиросам, незаметно перемещаемым из пачки «Казбека» папы Жоры в карман моего школьного пиджака, просто не было цены.

Обряд выкуривания первой папиросы папа Жора совершал каждое утро. Длилось это до того дня, когда в растворенную форточку вылетел ангел, унося душу папы Жоры. Хотя из слов тети Симы: «Покурил, вернулся в комнату, лег на диван и умер» можно допустить, что в форточку вылетел никакой не ангел, а просто сигаретный дым.

XXX

Итак, мы идем по дороге. Справа несутся автомобили, слева зияют пасти котлованов, на краю которых торчат старые голубятни и садовые деревья. Вдруг папа Жора поднимает правую руку и помахивает ею перед собою, словно отгоняя мух. Что-то бормочет под нос, глядя на необычный дом под темно-зеленым куполом.

— Церковь, — поясняет он минуту спустя.

— А что там делают?

— Молятся Богу.

— А кто такой Бог?

Папа Жора останавливается, на его обычно неподвижном лице появляется выражение некоторого удивления.

— Бог — это... Бог! — и снова осеняет себя крестным знамением.
— Ну-ка шире шаг, видишь, солнце уже высоко. Всю рыбу без нас переловят.

Я семеню, едва поспевая за ним, и в моем ежеминутно расширяющемся мире из-за плеч Иванушки-дурачка и Трех толстяков выглядывает голова какого-то Бога. Как назло, натирает кожу ремешок сандалии, но останавливаться, понимаю, нельзя — ведь там, в озере, остается все меньше рыбы. Ладно, про Бога спрошу потом, если не забуду.

Мы располагаемся на берегу озера. Папа Жора развязывает ленточку, и бамбуковое копьё распадается на несколько колен. Вдвигает одно колено в другое, сначала появляется первая удочка, длинная, затем вторая — покороче. Разворачивает снасть, надевает на крючок кусочек теста и, трижды поплевав на него, забрасывает далеко

в воду. Поплавок падает возле чашечки белой лилии, на которой неподвижно сидит стрекоза.

— Видел? Теперь ты попробуй.

Спешу тоже закинуть — меня разбирает любопытство, почему не улетела стрекоза: наверное намочила крылья, а может она мертвая. Однако моя удочка и леска слишком коротки, гусиный поплавок с красным острием плюхается почти у самого берега.

Вскоре мне уже смертельно скучно смотреть на неподвижный поплавок. Зато совсем близко от изломанной тени моей удочки выныривает лягушка. Если бы не папа Жора, можно было бы запустить в нее чем-то.

И зачем он меня разбудил в такую рань?! Вот и комар в шею впился — чешется. И ногу себе натер.

А папа Жора равнодушен к моим мукам. Собственно, ему были безразличны чужие страдания. Никому не мешая, но и не помогая он жил в своем мире удочек, газет, папирос и водки. Наверное, единственным сторонним человеком, допущенным в его мир, был я, непонятно почему удостоившийся такой чести. Все чаще вспоминаю его слова: «Если человек не причиняет никому зла, это уже немало». Он и сам придерживался этой бесхитростной философии — не совершать ни добра, ни зла. Не знаю, правда, что он чувствовал, когда раз в году на Пасху исповедовался в церкви. Стоя перед иконой Спасителя, считал ли себя грешником?

Он был родом из непонятного мне мира, где совсем иные мерки праведности и греховности — совсем не те, что предлагали школьные книжки. И я учился быть осторожным в своих суждениях.

В нашем дворе о папе Жоре высказывались самые разные мнения. В этом старике многих раздражало высокомерие. Его считали гордецом, выжившим из ума, хотя ум-то у него был крепкий и ясный, вплоть до последних его дней. О нем порой говорили со снисходительным сочувствием: «Что поделаешь, ему ведь столько довелось хлебнуть на своем веку — и войну, и лагерь, и ссылку»; а иногда шипели за его спиной: «Живет паразитом на шее Симы, только и знает, что ловить рыбу да водку пить».

В этих словах была, безусловно, доля правды. Но коль уж речь зашла о «паразите», то следует сказать, что в еде и в одежде папа Жора был крайне неприхотлив. Конечно, и картошка с селедкой тоже стоят денег, но, обращаясь к бухгалтерии, замечу, что он получал пенсию, из которой забирал оговоренную сумму на папиросы и рыбацкие снасти, остальное отдавал жене. Где добывал деньги на водку — эту тайну он унес с собой.

Хотя, повторяю, он всех раздражал. Проходя мимо соседей, лишь едва заметно кивал им седой головой, в чем тоже усматривали непомерную гордыню. Все же его побаивались, и потому все предпочитали упоминать его имя пореже.

Помню слова соседки бабы Кати: «Жаль его, но в рай он все равно не попадет» (что за привычка помещать души ТАМ на основании своих куцых представлений!). Баба Катя сказала это у церковной ограды, провожая взглядом мужчин, несущих к автобусу гроб, обитый алой материей с черными лентами. Как на барельефе, из гроба выступал высокий лоб папы Жоры, его крупный нос, виднелись впалые щеки и сухие губы.

А он оказался тяжеловат, гроб с папой Жорой. Хоть был я парнем неслабым, ростом все же не вышел, поэтому приходилось приподнимать повыше напряженные руки. Меня же, однако, никто не просил приходить в эту церковь, тем более нести гроб. «Но уж коль так рвешься, возьми у ног. Теперь подняли. Да заберите эту буханку хлеба и выбросьте огарок! Понесли». Э-эх...

xxx

Солнце уже припекает. В ячейки плетеного садка, опущенного в воду, несколько карасей просовывают свои тупые головы. Весь улов, разумеется, папы Жоры. Он курит и зорко глядит за поплавком. А мне скучно.

— Что-то не клюет, — говорю с тоской. — Мне нужна кора, для кораблика...

— Ладно, иди. Заодно и червей накопай, — дает мне большой складной нож.

Вот это да! Кто еще, кроме папы Жоры, дал бы мне настоящий складной нож?

Вхожу в лес. В голубоватых лучах, пробивающихся сквозь кроны, танцуют пылинки. Под ногами — осторожно, не наступи! — ягодка земляники. В шею впивается комар. Хлоп! Повсюду валяются огромные куски сосновой коры — хватит на пять кораблей! Но добегу во-он до той сосны. Выбегаю на опушку и... замираю.

На залитой солнцем поляне двое — мужчина и женщина. Лежат на животах и о чем-то разговаривают. На мужчине — черные трусы, на женщине — только сиреневые плавки. Я прячусь за стволом дерева и

потом осторожно выглядываю. Мужчина кладет руку женщине на спину, гладит. Ветер доносит обрывки фраз: «он этого даже не заслуживает...», «ты просто забыла...»

У меня почему-то холодеет в животе. Неожиданно понимаю, что я еще очень маленький — ведь не могу же вот так лежать с женщиной, у которой открыта грудь. Зато теперь я знаю: если так холодеет в животе, значит, в жизни есть что-то сладостное...

Папа Жора стоит на том же месте. Про червей и не спрашивает. Смотрю в садок, там уже один к одному жмутся караси. Но мне не до рыбы, нужно делать корабль. Обстругиваю принесенный кусок коры. Подравниваю борта, нос, чтобы потом, принеся улов домой («Эти два карася поймались на твой крючок, держи, принц») и, получив от мамы взбучку за испачканную футболку, опустить в ванну этот изящный кораблик с бумажным парусом.

Как я ждал того момента, когда мама, намылив меня и растерев мочалкой, разрешала потом недолго побаловаться! Вот тут-то разыгрывались баталии! Мой фрегат на всех парусах выходил в открытый океан. Его захлестывали волны, слева нападали пираты, справа — акулы, матросы прыгали за борт, капитан был ранен, акулы с гарпунами в брюхе шли на дно. Но в самый разгар сражения входила мама. Она выдергивала пробку, и океан мелел на глазах. Возникал водоворот, в который затягивало всех акул и пиратов. Я выпрыгивал из ванны, не вытеревшись как следует, надевал чистые трусики и несся к своему дивану, который приветствовал меня дружеским скрипом пружин. Белоснежная наволочка вмиг намокала. Впереди ждала полная приключений ночь...

Эта привычка не вытираться досуха не покидала меня очень долго и раздражала всех, с кем мне довелось жить. Но с некоторыми привычками бороться трудно, как трудно забыть и тот кораблик из сосновой коры, который сулил большие, порою очень рискованные, странствия, но, однажды спущенный на воду, должен был плыть.

2

Каждую осень папа Жора готовился к зимней рыбалке. Его кухня превращалась в плавильный и кузнечный цех. Там непрерывно горели конфорки. Папа Жора-алхимик надевал очки: в кухне стоял чад, месилась глина для формочек для мормышек, стучал молоток.

...Ночью в нашем доме зажигалось одно окно. Папа Жора поднимался по лестнице и звонил в нашу дверь. Я, четырнадцатилетний, залезал с головой под одеяло, подтягивая ноги к животу. Мои ночные кошмары превращались в явь.

Дверь отворяла мама. Кутаясь в халат, впускала папу Жору в квартиру.

— Сереженька, — ласково пела мама над моим ушком.

...Под нашими валенками скрипел снег. Спали люди, кошки, птицы. Лишь на одном перекрестке рыбаки ожидали автобуса. Наконец он подъезжал. Проезд стоил недешево, папа Жора расплачивался и за меня тоже, но велел не называть родителям настоящую цену — жалел их заработанные гроши.

Автобус катил за город, к Киевскому морю. «Бу-бу-бу... вольфрамовая мормышка...», «бу-бу-бу... Клавка — редкая стервоза...» — слышал я сквозь дрему.

Многие рыбаки отходили недалеко от берега и, пробуравив пару лунок, ждали рыбу. Папа Жора рыбу искал. Неутомимо носился по льду, оставляя позади множество прорубленных лунок. Как сейчас вижу его — в широком парусиновом плаще поверх ватника и шапке-ушанке. Плюет на ладони и, схватив древко тяжелой пешни, колет стальным наконечником толстый лед.

— Прынц, как учеба-то? — спрашивает, закурив.

— Нормально, твердая четверка.

— Небось, после школы пойдешь в институт?

— Ага.

— Это правильно. Если Бог дал мозги, то их нужно использовать, а ты у нас гаврик башковитый. Знаешь, я ведь когда-то учился в институте, на инженера. Но с третьего курса ушел на фронт. Потом якобы за политику — в письме другу написал несколько крепких слов про Сталина — сел в тюрьму. На десять лет! Потом в ссылку покатил. И закончил свою трудовую биографию слесарем-лекальщиком на заводе. Вот и все мои институты... Ладно, пробей-ка новую лунку, а то замерзнешь!

Обессилевшей рукой я брал пешню. Минут через пять, однако, мое окоченевшее тело разогревалось, появлялась вера в себя. Я остервенело скалывал лед, даже расстегивал свой ватник, а папа Жора, поглядывая на меня, кривил губы в довольной улыбке.

xxx

— Вот как бывает: и погода хорошая, и рыбаки мы вроде бы неплохие. А не клюет.

— Да, — соглашаюсь, с трудом сдерживая радость.

Наконец-то! Сейчас мы смотаем снасти и направимся к берегу, к автобусу. Там, в автобусе, — тепло, там горе-рыбаки уже пьют водку и рассказывают небылицы о своих прежних уловах.

Папа Жора напряженно смотрит куда-то.

— Сматываем удочки! — кричит вдруг.

Вдали, по белоснежной глади, ползут черные точки. Одна, вторая, третья... Впереди, сзади — повсюду! Поначалу они кажутся разрозненными, но, присмотревшись, замечаю, что точки ползут в правильном порядке — навстречу друг другу, замыкая кольцо.

— За мной! — командует папа Жора.

Какие тяжелые валенки! Деревянный чемодан больно ударяет углами по спине. Поскальзываюсь и падаю, растянувшись на льду.

А черные точки увеличиваются, превратившись в мотоциклы Рыбнадзора.

— Прорвемся! — кричит папа Жора.

Расстояние между нами и мотоциклами сокращается. Следом за нами бегут несколько рыбаков, тоже надеясь вырваться из окружения. Но шансов у них нет. А мы — вырвались!

Неожиданно один мотоцикл меняет направление и, нарушив единую линию, устремляется за нами. Все — дальше бежать нет смысла. Папа Жора останавливается.

Мчится мотоцикл, взметая за собой снежные вихри. Тормозит возле нас. Милиционер в тулупе сжимает руль, подгазовывая. Уши его шапки опущены и завязаны под подбородком:

— Ты куды, сука, бежишь?! Или хочешь, щоб тебя персонально отвезли в отделение? То я сейчас устрою!

Папа Жора молчит. Плащ его распахнут, грудь под ватником — ходуном. Я, перепуганный, невольно останавливаю взгляд на его лице — сквозь маску старости просвечивает лицо отчаянного крепкого мужчины, полного сил и жизни. Еще меня поразило его выражение: не злое, а какой-то необычайно строгий...

Не знаю, почему тот мент из Рыбнадзора, выматерившись, развернул свой мотоцикл и уехал. Смешно предположить, что он испугался пещи в руках папы Жоры. Быть может, у милиционера вызвали жалость эти два беглеца-нарушителя — старик и подросток? Или смутно почувствовал в том старике некое величие?..

xxx

На девятый день после его смерти меня к себе пригласила тетя Сима. Налила в рюмки водку, подала на стол закуску. Перед тем как выпить сказала про воздушные мытарства души папы Жоры, которая теперь отошла от земли.

— А знаешь, Сережка, ведь наш Георгий был сыном генерала царской армии! Да, генерала артиллерии Андрея Пригоровского. В революцию красные его расстреляли. К счастью, их кухарка забрала к себе пятилетнего Жоржа и усыновила его. Я ту кухарку еще застала в живых. А после войны и лагеря Жора ходил на Подол, где его стриг парикмахер — их бывший конюх. Но Жорж никому не говорил о своем происхождении.

— Надо же. Значит, он — потомственный дворянин, — удивился я.

— Представь себе, что его крестным отцом был последний губернатор Киевской губернии. Ну-ка погодь.

Поднявшись, тетя Сима ушла в комнату и вскоре вернулась с небольшой сумочкой. Достала оттуда затертую открытку из плотной бумаги, с едва видимым блеклым крестом вверху.

Бережно раскрыв открытку, немного отдалила ее от себя, затем прищурилась, стараясь найти желаемую строку:

— Свидетельство о крещении... Таинство совершил... Ага, вот. Крестные родители: Федор Федорович Трепов, генерал-губернатор Киева, — она развернула документ лицом ко мне. — Да, жизнь у моего Жоржа получилась горькой, как полынь...

Я смотрел на эту истертую временем бумагу, и передо мною возникали гранитные плиты на заброшенных монастырских кладбищах, где были похоронены царские военачальники, известные украинские и русские ученые, дворяне. Надписи на тех плитах потемнели и стерлись, и все вокруг них поросло травой и бурьяном.

С друзьями мы тогда часто лазали по тем заброшенным кладбищам, искали там, сами не знали чего...

А папа Жора лежит на Байковом кладбище. На линзе, прикрепленной к гранитной плите, его фотография — в полупрофиль, где папе Жоре лет пятьдесят: умное, благородное и удивительно красивое лицо — сын генерала царской армии!

На той же плите заблаговременно приклеена и другая линза — с фотографией тети Симы. У нее фамилия мужа. Она моложе его на восемь лет. А сколько ей Бог отмерил прожить?..

И шумит над той плитой береза. На киевских кладбищах вообще очень много берез.